
КАВКАЗСКИЕ ВОДЫ¹

(ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ ИСПОВЕДИ)

И свет не пощадил, и рок не спас.

Лермонтов

(Памяти А. И. О-го)².

Наконец губернатор³, заняв у меня пять тысяч рублей ассигнациями (без отдачи разумеется), выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ... лечиться. Я сам хорошенько не знаю, был ли я действительно болен или нет. Мне кажется, болезнь моя была только смутная тоска — конечно, не от того, что я был сослан, — ссылка для меня была сносна по положению и равнодушна по решимости терпеть. Я даже не думаю, чтоб у меня тогда была настоящая тоска по деятельности; это скорее была тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее; а между тем женат я был недавно и упорно думал, что я счастлив. Болезнь моего отца, постепенный упадок его мозга, его любовь ко мне, добросердечие и вместе болезненные фантазии и странный деспотизм, от которого становилось душно и против которого самое его положение мешало спорить, моя любовь к нему и совершенное разномыслие с ним — все это меня давило, и мне хотелось вздохнуть свободно; мне хотелось уехать куда-нибудь, хоть ненадолго — лишь бы уехать. К тоске обыденной жизни примешивалась тоска стремления к друзьям. Поездка на Кавказ представляла мне свидание с одним из них мимоездом⁴ и потом возможность провести целое лето с другим⁵, из самых мне близких; мне так хотелось обнять его со всей горячностью юношеской дружбы и почувствовать на деле то, в чем я и не сомневался, — что ссылка нас ни на волос

не изменила и что мы встречаемся с прежней неизменной готовностью жертвовать собою на общее дело. В то время и мои теоретические занятия не вели меня к деятельному спокойствию ясного сознания, сильно пахли метафизическим мистицизмом — без религии, отыскиванием таинственных сил и таинственной связи вещей, и чем-то почти пророчесвающим, но отнюдь не христианским. За натурфилософией Шеллинга и Окена ⁶ следовала теория животного магнетизма Кизера (*Kieser, Theorie des Magnetismus und Tellurismus*) * ⁷ и вера в гомеопатию; все это объяснял я себе теми метафизическими приемами, которыми так легко объяснить все на свете, раз попавши на канитель; так легко, что даже можно построить совершенно новую математику, раз принявши, что дважды два — пять; стоишь только отнюдь не сообразоваться с действительностью, не допрашивать фактов, а вести логичную нить, которой формализм всегда построится в систему, откуда бы она ни начиналась — от истины или от мечты, от действительности или от ошибки. Сверх того, склонность к таинственностям у меня еще оставалась и после недавней тюрьмы, после того, что мне казалось мученичеством, хотя, правду сказать, все вынесенное нами было так мало, что, конечно, не стоило такого высокомерного названия. Девять месяцев ареста ⁸ и пять лет жизни в губернии, где скорее было весело, чем скучно, — да если б из-за общественного дела приходилось рисковать только такими пустяками, на это не нужно бы особенной храбрости. Но, как бы то ни было, я считал себя взошедшим на поприще мученичества и ждал выхода, но выхода в новую деятельность и новое мученичество. Сенсимонизм, помогая мне в стремлении к мученичеству за новые верования, помогал мне и в метафизическом мистицизме не меньше, чем натурфилософия. Сенсимонизм, несмотря на *réhabilitation de la chair* ** и отрицание христианства, никогда не мог освободиться от дуализма; равные права тайной души и явного тела — все же дуализм, и *père Enfantin* ⁹, побеждавший своих судей силою взгляда, — все же библейски-христианский образ, сведенный на французское красноречие. В моей голове сенсимонизму легче, чем чему другому, было ужиться с

* Кизер, Теория магнетизма и спиритизма (нем.). — Ред.

** Оправдание, искупление плоти (фр.). — Ред.

натурфилософией; но остановиться на этом было нельзя: надо было или выйти из дуализма, или притти к настоящему христианскому, лучше сказать, к метафизически-христианскому мистицизму; к последнему я был как раз готов. Все вместе вызывало настроение смутной тоски, которую я принимал за болезнь, грусти мечтательной, мечтательных ожиданий, мечтательных раскаяний, что, может быть, не лишено своего поэтического оттенка, но слишком ослаблено и неспособно надолго владеть человеком, потому что несостоятельно ни перед мыслью, ни перед жизнью.

Как бы то ни было, в этом настроении я пустился в путь. Мы поехали на Саратов, хотя это было и не по дороге. М. Л.¹⁰ — для свидания с родственниками, а я — на свидание с товарищем. Лахтин был сослан на жительство в Саратов по одному делу с нами. Странно мне сказать — по одному делу, потому что дела не было никакого вообще, а с его стороны в особенности. Ссылка Лахтина относится к одной из тех несказанных уродливостей, наполняющих николаевское царствование. У меня нашли его письмо, писанное ко мне в деревню. В этом письме было говорено что-то о русской истории; смутно помню, что поднят был вопрос о происхождении дворянства в России; Лахтин производил его, кажется, от удельных князей или в этом роде что-то такое, вероятно теперь не выдерживающее ни малейшей критики. Больше ничего не было. Лахтин не был арестован; только раз был призван к допросу для объяснения этого письма, которое следственной комиссией показалось загадочным, вероятно потому, что презус — покойный князь Сергей Михайлович Голицын по врожденному слабоумию ничего в нем не понимал; а главный член, поныне благоденствующий князь Александр Федорыч Голицын¹¹, по честолюбию лакея и шпиона понимал не то, что было в письме, а то, чего ему хотелось, чтоб получить высочайшее потрепание по плечу. Словом, в одно прекрасное утро Лахтина позвали вместе с нами к выслушанию резолюции и объявили ему ссылку в Саратов. Лахтин был женат, жена его была беременна; он просил отсрочки; добрейший князь Сергей Михайлович с улыбкой отвечал ему: «Я не виноват, что ваша жена беременна!»... И Лахтина немедленно отправили в Саратов. Прошло три года, вот и я приехал в Саратов. Из-за разных ненужных

предосторожностей я не тотчас пошел к Лахтину, а послал М. Л. и остался в номере гостиницы ждать его. Сильно сердце билось. Наконец идут. Это он. Но он похудел. В лице странное беспокойство. Как мы обрадовались друг другу — об этом и говорить нечего; но отчего же в нем что-то такое странно надломленное? Он не изменился в направлении, в этом я и наперед был уверен; но неужели ссылка заставила его упасть духом? Он был не богат, но для скромного житья в Саратове имел достаточно. Стало, не бедность, а только ссылка пригнула его. Или другое горе пронеслось по его унылой жизни? Или болезнь сломила? Я ничего не мог узнать. И, пожалуй, во всем этом виноват я! Зачем я не сжег этого несчастного письма? Но надо признаться, что не только двадцатилетнему юноше, а и самому опытному жандармскому полковнику не могло притти в голову, чтоб за это письмо можно было кого-нибудь сослать! Я встретил в Лахтине такое уныние, что даже и его ученое трудолюбие исчезло, и любовь к науке была скорее похожа на хорошее воспоминание, чем на что-нибудь живое. Могло ли мое присутствие поднять его силы?.. Не знаю; но я сократил мое пребывание в Саратове также из ненужных предосторожностей, ненужных, потому что даже и при Николае тайная полиция, в сущности, была вовсе не страшна; она подчас била с плеча кого попало, человека совершенно политически невинного, и от этого нельзя было уберечься, как от бревна, падающего на голову; но систематически она никого не умела преследовать; ее агенты брали жалованье и любили попользоваться, при случае пугнув какую-нибудь невинную, но богатую жертву, а к надзору за кем и чем бы то ни было были совершенно равнодушны и неспособны. Из всех полицейских знаменитостей до систематического шпионства впоследствии выполз разве один из членов тайного общества 1825 года — Липранди; ну! да для этого надо быть изменником честных убеждений, а наши жандармы не имели и не имеют никаких. Но во время оно мы еще верили в опасность и боялись навлечь друг на друга новые гонения без всякой цели. И я пробыл с Лахтиным, помнится, только один день! Я уехал с тяжелым чувством... Через год я стоял на его могиле.

Дорога развеяла скорбное впечатление. Что это была за чудесная дорога! Май в полном блеске. Мы ехали почти

проселками, иначе нельзя назвать уездных больших дорог. Почтовых лошадей нигде не было, и мы тащились до Пятигорска 18 дней, точно на своих. Но я не жалел о беспрестанных остановках. Мне было слишком хорошо. Чем дальше мы подвигались к югу, все зеленее становилась степь; наконец, мы добрались до Дона и ехали целую неделю берегом. Дон был еще в полном разливе; с одной стороны зеленая, пахучая степь, с травой выше роста, с другой — вода, идущая, как море, в бесконечность; все кругом уходит в синюю даль. Да! хорошо было на приволье. Я даже забыл тайное, самому себе не высказанное сомнение в собственном счастье и весь был погружен в пантеистическое наслаждение широкой природой. Самое казачье племя произвело на меня благотворное впечатление. В нем было что-то более свободное,— не было тех запуганных лиц, которые я привык встречать под разбойнически-отеческим управлением Панчулидзева и пензенских чиновников и помещиков. Тут чувствовался кряж народа посамостоятельнее. Да не только Дон, а и все Заволжье такое. За год перед этим (т. е. перед 1838) за Волгой мужики убили моего двоюродного брата Александра Колокольцова за жестокое обращение, воткнув ему ногу в стремя и пустив лошадь скакать по степи; кто убил его — и след простыл, никогда не нашли. Степной человек любит волю, ему границы чужды и противны. В степи человек неуловим; его нельзя придушить, как человека, прижатого к забору. Он отхлынет в пространство, а если уж когда сам да нахлынет, то вся степь дрогнет от Астрахани до верховья, и по северным лесам гул пойдет, качнется и московский колокол. В Дубовке я распрощался с русской татаро-немецкой цивилизацией забавным образом. Мы приехали рано. Я спросил чаю и ждал на крыльце станционного дома. Вдруг, часу в седьмом утра, является какой-то квартальный, в мундире с иголки новом, очевидно нарядившийся ради высокотожественного случая. У меня мгновенно мелькнула мысль о преследовании за свиданье с Лахтиным... ну! и его преследуют и как это на нем отзовется... чорт знает.— «Здесь остановился сенатор Огарев?» — спросил меня квартальный голосом, мягким от подобострастия. Я тотчас успокоился. «Сенатора здесь нет,— отвечал я ему,— а только я — его родственник; но я не только не сенатор, а даже еще и не коллежский регни-

стратор». Конфуз легкой судорогой пробежал по лицу блюстителя порядка: как же было дать такого маху и явиться в шесть часов утра в ожидании особы, а очутиться перед человеком, который даже не коллежский регистратор! а между тем перед не коллежским регистратором, пожалуй, и еще совестнее выказаться подлецом. Я расхохотался и предложил блюстителю порядка чаю. Но моя беседа удвоила его конфуз. С одной стороны, сенатор был мне дядя, ревизовал незадолго Саратовскую губернию и отдал под суд Панчулидзева отца ¹², лет тридцать душившего Саратовскую губернию в качестве губернатора; с другой стороны, я был женат на племяннице пензенского Панчулидзева... кого тут хвалить? кого бранить?.. Блюститель порядка поспешно выпил и опрокинул чашку и, раскланявшись, ушел, подмахивая рукой в знак удовольствия, что отделался. Я проводил его глазами; мне было гадко, хотя и вовсе не ново; кажется, можно было привыкнуть к мысли, что в русском управительстве, за исключением изредка безумца, мечтающего иметь благодетельное влияние по службе,—служит только подлец; а все не привыкается... Может, от этой встречи на меня так отрадно подействовал переход от немецкого управительства к казачеству, где, сколько правительство ни старалось исказить отношение, а все же настоящее чиновничество не привилось, и селянин перейдет к коренному народному началу выборной администрации без враждебного истребления чужацкого чиновничества. А может, и самое степное приволье расползло меня на дружелюбие к его племени. Что за ночи и что за утро в степи! Что за песню пела казачка, переплывавая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца! Мне до сих пор эта поездка кажется каким-то сном, блаженным до грусти.

Но вот мы переехали и через Дон, разлившийся в Оксае верст на пятнадцать. Мы переехали его в грозу и бурю; мы плыли с лишком сутки; говорили даже, что опасно; а кончилось благополучно. И опять пошла степь зеленая, и все роскошней и роскошней. Вот и татарские арбы заскрипели, вот и верблюды показались. Наконец, светлым днем засинели вдали мои старые знакомцы —

...Бешту остроконечный,
И зеленеющий Машук ¹³.

В ясное утро был виден и двуглавый Эльбрус, с далекой цепью гор, подобных белым облакам, а к полдню белые облака толпились вдали, точно снеговые горы. Вот уже я еду нагорным берегом Подкумка, серебрящегося и шумящего глубоко, там — внизу, а за ним опять степь зеленая. Вот на повороте у подошвы Машука забелелись домики Пятигорска. Еще немного — и я увижу друга! ¹⁴

И еслиб мне пришлось прожить еще года,
До сгорбкой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого изгнания,
К чему душа рвалась в годину испытанья:
И степь широкая, и горные хребты —
Величья вольного громадные размеры,
И дружбы молодой надежды и мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом,
Их серую шинель — одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья.
И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был как песнь серебряная звонок,—
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье ¹⁵.

Я застал моего друга серьезно больным, но несколько не ослабевшим духом. Он остался таким же, каким я знал его в раннюю пору перехода из отрочества в юность. Та же чистота сердца, та же трогательная дружба, та же неизменность, как и тогда... как и всегда, все тот же, каким он не может не быть, как бы судьба ни разбросала нас по земному шару; и где бы он ни был, он нашу тогдашнюю встречу вспомнит с тем же живым, теплым чувством, с каким я вспоминаю ее — через двадцать три года.

Мы наняли квартиру на бульваре. Н. * привел нам доктора. Мейер был медиком ¹⁶, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера, естественно, примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата. Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, стриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился. Вскоре Мейер свел нас с декабристами; он и Одоевский бывали у нас почти ежедневно. Они были глубоко привязаны друг к другу. Их все соединяло — от живой шутки до глубокого религиозного убеждения или, лучше, религиозного раздумья.

Большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности. Шли ли они с теми же убеждениями в Сибирские рудокопни или ссылка заставляла их искать религиозного утешения? Это разве позже объяснится теми из них, после которых найдутся записки. Да надо вспомнить и то, что общество 14 Декабря строилось под двойным влиянием: революции и XVIII столетия, с одной стороны, и, с другой стороны, революционно-мистического романтизма, который не у одного Чаадаева ¹⁷ дошел до искания убежища в католиче-

* Н. М. Сатин.— *Ред.*

ском единстве и вовлек не мало людей в какое-то преобразенное православие. Дело в том, что для политической борьбы, для гражданского переворота, не только тогда, но и теперь, но еще надолго, теоретический вопрос религиозных или философских убеждений останется вне вопроса и мирно допустит сойтись вместе, в деле гражданского преобразования, ультрамонтана и атеиста и стать заодно в движении, с которым оба согласны; да и смешно было бы в основание гражданского союза не поставить свободы совести. Я не думаю, чтоб те из декабристов, которые пошли в Сибирь не мистиками, там сделались мистиками ради религиозного утешения; слишком твердо вынесли они немецкую кару за любовь к России, чтоб нужно было заподозрить их в слабости духа. Я думаю, что мистиками воротились из Сибири те, которые пошли туда мистиками или которые, не устоявшись в теоретических убеждениях, были готовы сердечно, поэтически отдаться религиозному чувству. Не могу также не заметить мимоходом, что общество 14 Декабря еще не имеет истории; но чем больше вдумываешься в него, тем больше провидится, насколько оно представляло коренное зерно всего русского движения; сложившись из всех элементов русской жизни, оно зместило в себе и выразило *in spe* * все идеи, которые развивались впоследствии,— от панславизма юного общества Соединенных Славян и родственного ему православия до юридически-рационального протеста Лунина и других, до католического протеста отчаяния в русской будущности, à la Чаадаев, и до социального взгляда, областного деления и конфедеративных стремлений Пестеля. Придет время, история скажет, насколько эти люди составляли родоначальный исток широкого развития нашей будущности.

Но возвращаюсь к Одоевскому. Это был тот самый князь Александр Иванович Одоевский, корнет конногвардейского полка, которому было 19 лет, когда он пошел на площадь 14 Декабря, и которого Блудов в донесении следственной комиссии попытался осмеять так же удачно, как Воронцов излагал свое мнение о Пушкине. Блудов не догадался, что Одоевский мог говорить: «Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!» (если это только было так говорено), потому что, несмотря на ранний возраст, он принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель

* Буквально: «в надежде», здесь — «в зародыше» (лат.).— *Ред.*

сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управления, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель, зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибли. Все, что могу заметить,— они были глубоко правы, и с каждым годом русского развития эта правота станет выставляться яснее, и тем смешнее и ничтожнее будут казаться всякие наемные писаря следственной комиссии.

Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот

блеск лазурных глаз,
и детский звонкий смех и речь живую...¹⁸ —

не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей хриstopодобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться. Из немногих в недавнее время напечатанных его стихов, в стихотворении к отцу например, я узнаю эту теплую искренность, но это не та удивительная отделка и гармония стиха, которая осталась у меня в памяти. Принадлежит ли это стихотворение к очень юным или оно не точно записано?.. Он обычно отклонял всякое записывание своих стихов; я не

знаю, насколько списки могут быть верны. Хотел ли он пройти в свете *«без шума, но с твердостью»*, пренебрегая всякой славой?.. Что бы ни было, но

Дела его и мнения
И думы,— все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков...¹⁸

И у меня в памяти осталась музыка его голоса — и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая, хотя бы тайком. В недогадливой беспечности я даже не записал ни его, ни других рассказов про Сибирь. И еще я сделал преступление: в моих беспутных странствиях я где-то оставил его портрет, сделанный карандашом еще в Сибири и литографированный; он представлен в какой-то чуйке с меховым воротником и очень похож. Если он у кого-нибудь есть — умоляю прислать, потому что другой портрет, который у нас, так дурен, что мы не решились приложить его к «Полярной звезде».

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи¹⁹, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к ним и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было слишком

десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было искренно и величаво. Я смотрел на него с религиозитетом. Он был мой критик. Из всех моих тогдашних писаний, давно заброшенных, я всегда помнил исключительно два стиха, потому что они ему понравились, и украл их сам у себя впоследствии. Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок — бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского²⁰, стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я, и к нему, как к единой окончательной цели, примыкало наше религиозное настроение, с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик или православный... не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен притти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или скорее поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни, с самой первой юности, и самый склад мозга; это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

...Мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...

т. е. мечты какого-нибудь личного счастья, он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоот-

вержению, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но, может быть, и при других обстоятельствах, он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, это свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки *, и, конечно, принадлежащая к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину. Мне кажется, что впоследствии у славянофилов развилось каждение православию только в антиэтическом смысле. Если, с одной стороны, западнокатолический протест против печальной русской действительности двигал нас, отрицая, с этим отрицанием росла и потребность положительного выхода из унылой действительности; а этот положительный выход мог быть основан только на действительно существующих данных, т. е. на народных началах. Обе стороны, отрицание русской действительности и положительное ее развитие, выросли из общества 14 Декабря. Одна доросла до католицизма, другая до православия, не замечая, что наша народность, полная раскола, может развиваться только на основании совершенной свободы совести. Умер и патриарх католического протеста ²¹, умерли и самые усердные деятели из славянофилов. Воздадим каждому свое: остановимся с уважением перед людьми, у которых от русского страдания сердце наболело до отрицания, и взглянем с уважением на людей, которые были пророками русского развития. Я знаю, что доктринаризм возопиет против этого откровенного признания ²²; но я знаю и то, что доктринаризм — коренной враг

*Музыку писал Вадковский, один из самых ревностных деятелей 14 Декабря и товарищ Одоевского по ссылке; она носит характер романса того времени, с тех пор хотя и осмеянного с ученой точки знатока, но которого задумчивая прелесть, вышедшая из слияния русской песни с европейской музыкой, для непробужденного останется изящной. В мотиве Вадковского есть талант, но в целом выработка ученическая, и в нашем списке столько ошибок, что мы не решились напечатать музыку.

России, который еще долго будет стараться вогнать государственное развитие и юношеские умы в свои узенькие рамки; но едва ли удастся. Впрочем, враг силен, и борьба должна быть не малая. Доктринаризм, выставляя западную науку как догмат, не заметил, что наука существует только одна — и совершенно не догматическая, т. е. история, история природы и отдел ее — история человечества. Спор, довольно скудный смыслом, о всеобщности и о народности в науке находит свое разрешение в истории. Без сомнения, математические законы всякого движения в мире всеобщи; но это не мешает, а, напротив того, доказывает, что каждое явление складывается из своих данных: ток реки по направлению ската, рождение устрицы и кита, английская конституция и европейская цивилизация — явления, сложившиеся из известных данных и равно не представляющие никакой нравственной абсолютной истины или абсолютного догмата. Иные элементы обуславливают иные формы гражданственности, и помимо их эта гражданственность не может развиваться. В России уже один факт народного землевладения противоречит западной цивилизации и требует своего развития; логика и действительность равно указывают, что известную цивилизацию и ее понятия, т. е. известную историческую эпоху, можно принять за факт, а не за догмат, за явление общественной жизни, а не за науку. Существование иных, новых оснований, новых форм собственности в России и у большей части славянского племени, а следственно, и нового понятия о собственности, а следственно, и потребность нового понимания всей гражданственности — лежало в мысли декабристов и высказано всенародно славянофилами. Совершенно несогласный ни с какой религией, а следственно, и с их преображенным православием, я — или лучше — мы тем не менее искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития.

Опять я увлекся современностью; возвращаюсь к воспоминаниям.

Христианское направление Мейера было гораздо сложнее, я хотел сказать — гораздо личнее христианского самоотвержения Одоевского. Мейер был уныл; ему нужно было утешение. Его сердечное благородство и его потребность любви не уживались с действительностью. Чтоб выносить хаос, ему нужно было единство божественного разума и

божественной воли; чтоб не умереть с отчаяния, ему нужно было бессмертие души. Постоянная Grübeleï *, раскапывание собственного сердца — без сомнения совершенно чистого — влекли его к христианскому покаянию, а потребность систематической истины, от которой он, как человек науки, не мог отклониться, заставляла рыться в де Местре, Сен-Мартене и пр. Под его влиянием я читал Сен-Мартена: «Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappelés au principe universel de la science, par un philosophe inconnu (Edinburgh, 1782)» **. Каким образом я мог увлекаться этой книгой ²³ — теперь это мне едва понятно. Каким образом Мейер мог мирить с нею взгляд Распайля ²⁴, которого органическая химия тогда только что вышла в свет, и взгляд Мажанди ²⁵ (Leçons sur les phénomènes physiques de la vie ***) — это для меня еще непонятнее. Любя вспоминать, я недавно отыскал книгу St. Martin. Раскрываю наудачу, стр. 35 — État primitif de l'homme: «Il n'y a point d'origine qui surpasse la sienne; car il est plus ancien qu'aucun être de la nature; il existoit avant la naissance du moindre des germes et cependant il n'est venu au monde qu'après eux. Mais ce qui l'élevoit bien au dessus de tous ces êtres c'est qu'ils étoient soumis à naître d'un père et d'une mère, au lieu que l'homme n'avoit point de mère»... **** и т. д. А между тем мы увлекались этой книгой; но я также не очень давно пробовал заглянуть в Шеллингову Weltseele; это уже принадлежит не к религии, а к науке. Ну! признаюсь — религиозный St. Martin все же еще более имеет следов здравого смысла, чем немецкий философ. А в то время!.. В то время, я помню, раз в жаркий полдень я взял St. Martin и ушел на гору в грот, через дорогу от Михайловского источника, сел и читал, и эта чепуха мне

* Самокопание, бесплодное мудрствование (нем.).— *Ред.*

** «О заблуждениях и истине или обращение людей ко всеобщему принципу науки. Неизвестного философа». Эдинбург, 1782 (фр.).— *Ред.*

*** «Учение о физических явлениях жизни» (фр.).— *Ред.*

**** Первобытное состояние человека: «Нет никого, кто бы превосходил его родовитостью; ибо он древнейшее из живых существ природы; он существовал еще до зарождения мельчайшего из зародышей и однако ж явился на свет только после них. Но более всего возвышает его над всеми существами то, что им предопределено было родиться от отца и матери, меж тем как у человека матери не было» (фр.).— *Ред.*

казалась ясною как дважды два; вдруг что-то легко про шумело в кустах, я взглянул: длинная, красивая змея вползла в грот и, остановясь передо мною, подняла голову и проворно шевелила своим тоненьким трехзубчатым язычком. Можно было и испугаться; но я глядел с умилением на изящество создания божия, и когда змея опять быстро прошипела и ушла, я только верил в провидение, которое предназначало мне иные страдания и лучшую гибель. Неуловима иллогичность человеческого мозга! Слишком много впечатлений, разнородных влияний, слишком много неровных сотрясений, чтобы правильное развитие мысли могло быть постоянно. И тут, как и во всем органическом мире, физиология и патология совпадают, и патологические явления развиваются по физиологическим законам; природа не знает наших ученых подразделений, изобретенных с нашей точки зрения собственно для нашего удобства, чтоб не слишком запутаться, и мозговая жизнь, смотря по силе толчка, называемого впечатлением, стремится в разные уклонения, называемые безумием, с простотою воды, текущей по наклонной поверхности.

Мейер еще не довольно устал для отречения от личного счастья; мученичество не сделало из него того ровно самоотверженного человека, равнодушного к благам мира сего, как Одоевский. Мейер любил женщину и страдал бесконечно. Эта женщина была мне сродни. Молодая, стройная, с пылкими черными глазами и черной косою до пят, она по какому-то капризу набросила свою любовь на Мейера, на Мейера, который считал себя уродом и не созданным для женской любви. Все перевернулось в жизни этого человека. Но счастье было минутно. Ее татарская натура не могла любить ни долго, ни серьезно. Она только искала наслаждения, и сперва обманываемый, потом пренебреженный Мейер страдал неимоверно. Его мягкое и чистое сердце могло только сломаться в руках этой женщины, и оно сломалось. Может быть, его живой и сильный ум со временем еще выпутался бы из напряженного мистицизма и заявил бы свою силу; но тут ему только оставалось крепко схватиться за него, чтоб удержаться в жизни... ненадолго. Он потух быстро, в самой цветущей поре...

Я с своей стороны лично переживал трудные минуты. Как ни дружна казалась М. Л. с людьми, которых я любил, т. е. с Одоевским, Мейером и моим неизменным Н.,

сколько ни принимала она участия в моих либеральных стремлениях, но ее влекло в другую сторону. Ее влекло к пустой светскости и к пустым удовольствиям; я сам ни прежде, ни после не был врагом их и мог предаваться месяцы не только пустым, но диким удовольствиям; но они не составляли для меня серьезной стороны жизни; для нее, казалось, они были предназначены разыгрывать серьезную сторону, а все действительно-серьезное — только поверхностную сторону жизни. Мое углубление в христианское покаяние ей не нравилось не из убеждения, а потому, что это скучно; сосредоточенность, которую это направление на меня навело, она принимала за апатию и скучала; и естественно, чем больше скучала, тем больше искала развлечений. Я смутно чувствовал, что между нами ложится черта, которая раздвоится в бездну; но в этом я сам себе боялся признаться. Я тогда слишком любил ее. Мне было больно, и я старался скрывать от себя, что мне больно. К ревности я не имел повода; да если б и имел, я не стал бы ревновать; я всегда ненавидел ревность, она слишком похожа на зависть. Черта между нами двоилась из более человеческих причин, чем из-за того, что «вот ты не смей никого любить и тебя не смей никто любить; как со мной ни скучно, а будь моею — не то зарежу»... черта между нами двоилась из-за взгляда на жизнь, из-за того, куда каждый из нас направит свою внутреннюю силу, что для кого будет дорого и свято. Раз вечером мы сидели втроем у окна нашей квартиры, Н., она и я. Мы молчали; может быть, Н. и знал, что мне тяжело, но никогда не намекал мне об этом; его любящая рука не хотела меня царапать по больному месту. Мы молчали. Как-то было душно. В это время единственная шарманка в Пятигорске играла где-то малороссийскую мелодию, до бесконечности грустную. Я и теперь ее помню. Сколько смутной скорби вызывали эти звуки — этого не передашь. Долго играла шарманка, сердце надрывалось, а жаль стало, когда она перестала играть. Печально мы расстались с Н. в этот вечер, пожав друг другу руку и молча понимая, что между нами нет тайны.

В августе мы поехали в Железноводск. Н. и Одоевский переселились туда же. Мейер приезжал как только мог часто. Железноводск — мой любимый угол на Кавказских водах. Он лежит в лесной долине между Бештовой, Желез-

ной и Змеиной горой. Дикая прелесть и свежесть этого места, с его зеленой тенью, дают отдых после Пятигорска, палимого солнцем. Жизнь шла мирно в кругу, так для меня близком. Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я — мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

Долго следил я эфирную поступь...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи.

В одно утро я получил эстафету, что мой отец при смерти болен. Я тотчас собрался в дорогу; М. Л. осталась на Кавказе. Грустно простился я с моим Н. и навек простился с Мейером и Одоевским...

Я сменил лошадей в Пятигорске. Шарманка играла малороссийскую мелодию. Тройка мчалась изо всех сил. Подкумок шумел у стремнины. Дальше, дальше! Вот и горы стали исчезать за мною — и степь становилась пустынной и пустынной...

И все это исчезло. Умерли и эти женщины, так же легкомысленно вмешавшиеся в нашу судьбу, как и мы легкомысленно приняли их в свою жизнь. Мейер умер где-то там же на юге, среди дружного с ним семейства генерала Раевского; он недолго пережил утрату Одоевского, не устоял перед скорбью своего сердца. Исчез и он, тихий мученик за русскую свободу, поэт, миру неведомый; бесследно замер его голос, и только «море Черное шумит, не умолкая»...